



Остановиться, замереть,
вдруг потеряв способность шага,
и сквозь себя, как сквозь бумагу,
свечение истин рассмотреть.
И свет, неясный поначалу,
неровный — вдруг прожжет насквозь,
и боль, что в нас с тобой кричала,
уйдет, свою ломая ось.



Приходи ко мне, Оле-Лукояе,
Подержи сонный зонт надо мной —
Я хочу погулять в Лукоморье,
Сказки выучить все до одной.

Я с Кощеем бы чахла над златом
(посчитала б его заодно);
Мне б русалка клялась, что когда-то
Они с Пушкиным пили вино.

И Яга бы мне стала подружкой —
Шашки, семечки, дартс, домино;
И шепнула б, что в этой избушке
Они с Пушкиным пили вино.

Я потом бы пошла к Черномору —
Пара фото, андреевский флаг...
Он сказал бы, что в летнюю пору
Они с Пушкиным пили коньяк...

Я б от Коршуна Лебедь отбила,
Ощипав ему оба крыла,
И она от меня бы не скрыла
Факт, что с Пушкиным тоже пила!

Только Кот (как известно, Ученый)
Рассказал бы, что Пушкин не пил,
Что обычно по цёпи точеной
Он налево с Котом уходил.

...Извини меня, Оле-Лукойе —
Просто нервы гуляют; не сплю...
Потому настроенье такое.
Хочешь, я тебе водки налью?..



Так бывает только в ноябре:
по останкам осени расхристанной
ходит снег, своей хозяйкой присланный,
в каждом поздоровавшись дворе.
Так бывает только в эти дни:
бьет шуга о берега амурские,
по утесу гонит тени узкие
ветер, по пути гася огни.
Догоревшей осени гобой
так сипит, что хочешь отстраниться,
прыгнуть со страницы на страницу —
да сюжет прописан не тобой.
Холодно, как будто одинок.
Холодно, как в музыке уртекста.
Ноябрем на царство кроет место
молодой, жестокий зимний бог.



Лазурь. Морозно. Солнце-снег — Батыем:
Завоевав страну, вновь точит луч-клинок
И им, кривым, ломает все прямые.
Все узаконено на договорный срок.

В окне застывшем корчится гримасой
Пустая тень-горбун слепого фонаря,
И греются разлуки, руки, расы
Холодным пламенем и взглядом декабря.

Исхода не найти, как либерею
Жестокосердного и властного царя...
Но я тебе сейчас вина согрею,
Живым огнем закат июльский сотворю.



Дождаться бы, когда зима состарится
и поползет, снега свои влача,
на сопки за рекой, где и преставится,
бессильные проклятия шепча.
Дожить бы до поры, когда на дальние
дороги всем хватало б кошелька,
когда слова любви первоначальные,
основой став любого языка,
дела вершили в мире...
Флажолетами
пускай звенит прозрачная весна —
над городом, над зимами и летами,
над жизнью, что и вечна, и одна.

Июнь

Гроза; вечерний воздух вкусный;
цветов в нарядах безыскусных
улыбки мокрые в саду,
и я у сада их краду.
Немного зябко — как в паване,
когда сознание в тумане
от мелодических красот,
твоих замедленных движений,
от слез, от череды зажжений
свечей... Инфант-июнь поет,
а я душистый дар травы
пью благодарно из пиалы.
Всего так много и так мало;
и ненадолго так, увы...

Снеговики

Снеговики, снеговички и девы снежные —
богов зимы земной иконостас...
Они ночами — абсолютно нежные —
стоят и с грустью думают о нас.
Не злят их наши действия беспечные:
им жизни — до ближайшего тепла...

Стоят они — наивные и вечные;
и тоже рады, что весна пришла.



Механизмы солнечные дрогнули,
заводя весенние календы;
с единицей чередует Бог нули,
что двоичный код небесной ленты.
Пусть пока застегнуты до ворота
пуговицы-фонари на ночи —
зимняя доха уже подпорота
лезвиями льда; подол — короче...
И, пытаясь в шатком равновесии
удержать натиканное время,
зимнее уходит мракобесие
из большого города в деревню,
из деревни, снегом в известь крашенной —
в лес, в луга, в речные коромысла...
Кончился запас капусты квашеной,
и в ходу теперь другие смыслы.
Перемена. Треснет и развалится
драмтеатр зимы с афишей бледной;
пусть не только дня — ума прибавится!
Завелись весенние календы...

Январь

Каких начал начало ты, январь?
Каких дорог?
Твой голубой, как вена, календарь,
Чему залог?
Звездой Вифлеема засияв,
Святишь окно.
Через тебя пройти, не потеряв,
Не суждено.
Твой смысл невыразим, как белый лист,
Как тень строки.
Я — преданнейший твой евангелист.
Как тень Луки.

Амур

Привыкнув, не замечаешь — мол, что такого
в этих лестницах, в этой воде?
Проходишь в тысячный раз будто мимо декораций,
мимо ставшей бутафорской усталой реки.

Но она жива, и внутри нее живет добрый Черный дракон —
где-то у Хинганских щек.
Когда-то он победил Белого дракона,
убивавшего мирных людей, которые жили на берегах,
и поэтому мы жили и живем так,
что умираем просто от старости.
Или от зависти. Или от скуки. Или от любви —
мы сами выбираем, от чего умереть.
Но нас не убивает Белый дракон.
Реке нужна наша любовь, дружище.
Она делает Черного дракона сильным.
Почаще говори с рекой
и начинай прямо с верхней ступеньки лестницы.

Времена года

Смотри-ка, год пошел с начала!
Он вылез, как из рукава
факира; смотрит одичало,
Бубня январские слова.
Ты по-февральски с ним поवेशь,
Ладони настом резанув;
Апреля набожность присвоишь,
Просфору боязно куснув.
Июль скостит тебе усталость
И даже вынет из кольца,
В котором жизнь твоя зажалась
И все никак не вырвется...
В воображаемом пролазе
Меж сентябрем и октябрем
Тебя качнет, как долю в джазе,
И снова выбросит на стрем.
Твоя декабрьская страница
Послушно даст себя прочесть,
И пискнет за окном синица
О том, что знает, кто ты есть.



Гуляли ветры плутовские,
И на березе, хохоча,
Качались духи городские
И ждали первого луча.
У них балы в такую пору,
Когда их выдует из стен,
И Корф имеет в карты фору,
И наливает граф N.N.,

И Унтербергер с эполета
Сдувает тополинный пух...
Гуляй, хабаровское лето —
Амурских волн шальной пастух.



Вдруг попалась бабушкина книжка;
в ней желтел, как маленький горчичник,
рубль — он грел остывшие страницы...
И с разгона в память мне вкатилась
убежавшая с мороженым тележка,
мысли чиркнули шальными голубями —
по ветвям, по проводам, знакомым крышам!
Мама — Господи — такая молодая,
в ярком платье крепдешиновом, с «бабеттой»,
рядом я — смешные хвостики в резинках,
и мороженка в стаканчике картонном...
Двор с огромным тополем-рогаткой,
с выпавшими из гнезда птенцами,
что смешно клевались желтым клювом
(мы спасали их от местных кошек,
оставляя тех в недоуменье).
Двор, ты был страной другого солнца!
А еще — бидоны на телегах
с настоящими живыми лошадьми
(так обед возили в нашу школу
и вообще во все другие школы)...
США грозят нейтронной бомбой —
нам на классном часе рассказали —
только мы, Страна Советов, не боимся!
Тыща девятьсот восьмидесятый.
В телевизоре читает Вознесенский —
бабушка его не любит слушать,
хотя книжка ей давным-давно «прочтена»
(почему-то так и говорила).
Это можно вспоминать часами,
плавно уходящими в столетья.
С этим можно уходить в столетья —
с голубой, с мороженым, тележкой...



В густом и жарком джазе вечера —
мотив шопеновской мазурки:
со свингом здесь давно повенчана
ее триольная фигурка.

Разлада нет — так дружат те из нас,
в ком звук и ритм — одной природы,
и потому Шопен играет джаз,
творя божественные коды.



В бокале крымского вина
часть мира на просвет играет
и в каждой капле растворяет
и имена, и времена.
В нем — Херсонеса шум торговый,
что и теперь еще летит
над морем ночью; и звенит
сталь генуэзскою подковой;
пот инкермановских камней,
и покрывало слов турецких,
и скорлупа орехов грецких,
и слезы осажденных дней;
и красный рот Бахчисарая,
и тень царей, и ложь вождей,
и вера в здравый смысл людей...
И терпкий крымский привкус рая.



По небу бабушки летели.
Летели к тем в рассветной мгле,
С кем почему-то не сумели
Соединиться на земле.
Летели гордо и открыто
По всем попутным им ветрам;
Летели, словно маргариты
К своим любимым мастерам.
Они гортанно песни пели
И тихо таяли, как дым...
По небу бабушки летели,
Летели к дедушкам своим.
И каждым утром легкой птицей
Я, как они, лечу во мгле
К тому, с кем мне соединиться
Никак не выйдет на земле.

